

Игорь Губерман
Книга
СТРАНСТВИЙ



18+

содержит
нецензурную
брань

Игорь Губерман
Книга странствий

«Рама Паблишинг»

2003

Губерман И. М.

Книга странствий / И. М. Губерман — «Рама Пабблишинг», 2003

ISBN 978-5-904577-67-4

Книга «историй о странствиях по жизни» ироничного и мудрого автора знаменитых гариков. «Странствуя по миру, я довольно много посмотрел – не менее, быть может, чем Дарвин, выдавший виды... Внезапно очень захотелось написать что-нибудь вязкое, медлительное и раздумчивое, с настырной искренностью рассказать о своих мелких душевных шевелениях, вывернуть личность наизнанку и слегка ее проветрить».

ISBN 978-5-904577-67-4

© Губерман И. М., 2003
© Рама Пабблишинг, 2003

Содержание

Очень короткое, но нужное начало	6
Часть I	11
Стоп-кадры	11
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Игорь Губерман

Книга странствий

© И. М. Губерман, 2003

© ООО «Издательство Гонзо», 2017

Очень короткое, но нужное начало

Вообще говоря, я хотел назвать эту книжку скромно и непритязательно – «Опыты». Но вовремя вспомнил, что такое название уже было. И начертано на трехтомнике Монтеня, стоящем у меня на полке. А еще мне было очень по душе название известной книжки философа Бердяева – «Самопознание». Но тут возникла заковыка несколько иная: у философа Бердяева явно имелось, что в себе познавать, а у меня? Я заглянул вовнутрь себя и молча вышел. Но от огорчения сообразил, что я ведь двигался по жизни, перемещаясь не только во времени, но и в пространстве. Странствуя по миру, я довольно много посмотрел – не менее, быть может, чем Дарвин, издавший виды. Так и родилось название.

Внезапно очень захотелось написать что-нибудь вязкое, медлительное и раздумчивое, с настырной искренностью рассказать о своих мелких душевных шевелениях, вывернуть личность наизнанку и слегка ее проветрить. Ибо давно пора.

Мой путь по жизни приближается к концу. Душа моя чиста, как озеро, забытое прогрессом. Я эту мысль уже зарифмовал когда-то, у меня такой именно способ сохранять свои и чужие мысли. Я уже в возрасте, который в некрологах именуется цветущим. В такие годы пишут умные и серьезные книги, но я еще настолько не состарился. Хотя уже охотно ощущаю вечернее глотание лекарств как исполнение супружеского долга. Ну, словом – грех не занести на беззащитную бумагу все мои от жизни легкомысленные впечатления. И выпивка, конечно, мне поможет. Многие пьют, чтобы забыться, а я – чтобы припомнить неслучившееся. Как говорил Экклезиаст (цитирую по памяти) – есть время таскать камни, а есть время пить пиво и рассказывать истории. Тем более живу я в Израиле, где и без того достаточно камней, ибо каждый приехавший сюда скидывает камень с души. Это сказал, вернувшись из вавилонского плена, какой-то древний еврей своему столь же древнему собеседнику. Я этого, правда, нигде не читал, но, вероятно, тот древний еврей просто не записал свою мысль. И вообще, если вы в моей книге прочитаете: «как говорил Филоктет в беседе с Фукидидом» – не используйте эти слова в научных трудах, ибо летучие цитаты я обычно сочиняю сам. Однако же я убежден, что ежели в ученой и серьезной книге вдруг написано, что Эмпедокл сказал нечто Филодендрону, – то и это чушь собачья, ибо это сотню лет спустя сочинил какой-то третий грек, чтоб именами усопших утвердить свою сомнительную правоту. У меня, кстати, в блокноте понаписано полным-полно различных мудрых мыслей, только возле каждой есть пометка, откуда она именно и чья. И мог бы я спокойно зачеркнуть эти пометки и начинить свою книгу мудрыми словами и идеями. Но я побаиваюсь подлинных чужих цитат, ибо опасно, если книга умнее автора. Кроме того, по-настоящему глубокие мысли всегда печальны и пессимистичны, а мне вовсе неохота утолщать жалобную книгу человечества. Хотя, с другой стороны, я где-то прочитал, что иметь на каждый случай подходящую цитату – это наилучший способ мыслить самостоятельно. Прямо не знаю, что лучше, – буду поступать по ситуации.

А вот действительно печальное в любых воспоминаниях – тот факт, что многое никак не выскажешь. Я вот о чем, я поясню это простым примером. Дочка моя Таня в возрасте лет четырех влюбилась в незамысловатую пластинку «Малютка-флейтист». Она слушала ее целыми днями – как только пластинка кончалась, она тут же ставила ее с начала и опять изнемогала от блаженства. Вскоре она выучила текст наизусть и занялась естественным детским террором: принялась ее пересказывать. Одной из первых жертв оказалась ее любимая тетя Лола, сестра матери. С подъемом и волнением излагая текст, минуты через три вдруг маленькая Таня остановилась и как-то напряженно замолчала.

– Забыла? – участливо спросила тетя Лола.

Танька, не сказав ни слова, отрицательно покачала головой.

– Так что же ты молчишь? – обеспокоенно спросила тетя Лола.

– Здесь музыка, – объяснила ей Таня.

И я как раз об этом же: никак не перескажешь всю ту музыку, что звучала в наших душах в разные года по поводу тому или иному, а гораздо чаще – просто так. И мемуары это сильно обедняет. А ведь хочется – ох, хочется! – представить свою жизнь красиво. Нет, не приукрасить, не приврать, а именно представить. И мне снова много легче объясниться на примере или случае.

Мне рассказывал один художник, начинавший некогда в Одессе. Он сидел во дворе своего густо населенного дома и изо всех юных сил подражал художнику Полену – рисовал одесский дворик. Там висело на веревках разноцветное белье, и в том числе – исподнее, конечно, ему было весело и интересно среди этого пейзажа. Вышла ветхая старушка, повернула часть бельишка к солнцу непросохшей стороной и с недоумением спросила у юнца, зачем он это все рисует.

– Будет картина, – ответил он вежливо, – повезу ее на выставку в Москву.

Старушка покачала головой и удалилась. Через минут десять она снова вышла и залатанные старые подштанники, что сохли на веревке, заменила новыми и целыми.

– Если в Москву, – сказала она художнику, – пусть лучше будут эти.

Как раз об этом я и говорю.

К несомненным достоинствам моей книги следует отнести тот факт, что ее можно читать, начав с любого места и не подряд. Включая, разумеется, возможность не читать ее совсем. Но если все-таки вы станете ее листать (довольно частая ошибка у любителей воспоминаний), то наверняка наткнетесь на места, где с автором категорически не согласитесь. И закипят у вас разнообразнейшие возражения. Так вот, имейте в виду, что я заранее согласен с каждым вашим аргументом. Хотя согласие мое такого будет типа, как в истории, которую я некогда услышал.

У нас тут жили в Иерусалиме два пожилых плотника – Яков и Федор, русский и еврей. Они давно дружили, за работой предавались шумным философским спорам, будучи попеременно правы и не правы, только Яков обожал, чтобы за ним оставалось последнее слово. И однажды на какой-то довод Федора ему Яков сказал:

– Ты, Федя, рассуждаешь прямо как еврей. Ты, может быть, и есть еврей?

– Ты что? – обидевшись, ответил Федор. – Ты не знаешь, что ли? Хочешь, я тебе сейчас докажу?

– Да я твое доказательство вчера под душем видел, – досадливо отмахнулся Яков.

Но Федор в полемическом задоре вынул все-таки и предъявил свое доказательство.

– Да, ты не еврей, – задумчиво согласился Яков, лихорадочно соображая, что все-таки не за ним остается последнее слово. И язвительно добавил: – Но и это – не хуй!

Все мемуары пишутся еще и для того, чтоб неназойливо и мельком похвалиться и похвастаться. А у меня для этого хранится в памяти (и там пребудет вечно) удивительный житейский эпизод. Пять лет назад я получил на свое шестидесятилетие уникальный по душевной ценности подарок. Для того чтоб рассказать о нем точнее, я отступлю от юбилея на полгода назад. Я получил тогда из Нью-Йорка от своего друга Юлия Китаевича довольно странное письмо. Он собирался торговать с Россией всяческой медицинской аппаратурой и просил меня прислать ему список людей (в Америке, в Германии, в Израиле, в России), с которыми я был настолько близок и которым я настолько доверял, что Юлик мог спокойно обратиться к ним за разными наводками на сведущих людей и вообще с некими вопросами. Я пожал плечами, смысла обращения не понимая, но немедленно составил такой список. Он оказался довольно обширен – помню, как я хмыкнул не без удовольствия, как много у меня по свету развелось за жизнь приятелей. И Юлий всем им позвонил. Но вовсе не с той целью, о которой говорилось мне. Он предложил им скинуться по сотне долларов, чтоб к юбилею изготовить мне некий поразительный подарок. И никто из них не отказался. В день юбилея я получил отменно изданный сборник своих стихов, который никогда не составлял. Он явился в свет «без посредством отца»,

как говорили некогда в Одессе. Его составили Саша Окунь и Дина Рубина. А все стихи перепечатывала (у меня под носом, на моем компьютере, мне только стоило уйти) моя жена Тата. Вообще об этом знали человек, наверно, двести, и ни один не проболтался! Для интеллигентов это крайне редкое явление. Полным идиотом в этой ситуации был только я, ни разу ничего не заподозрив за полгода. Более того: за месяц до юбилея я пришел в любимый всеми нами ресторан «Кенгуру», и владелица ресторана Лина спокойно обсудила со мной меню на тридцать человек (на больше не было финансов), мне ни слова не сказав о том, что ужин ей уже заказан – и не на тридцать, а на сто двадцать человек – от собранного оставались деньги. Тата стала волноваться только за день приблизительно – все спрашивала у меня, не склонен ли я к инфаркту от различных неожиданностей жизни. Я, тупица толстокожий, ухмылялся, ничего не понимая. Возле самой двери в ресторан мне Тата вдруг заботливо сказала – «ты держись», но я и это понял как ее всегдашнюю боязнь, что я наговорю различных глупостей. И тут я все увидел. Ибо все уже сидели чинно за столами, а посреди зала огромной и прекрасной грудой возлежал тысячный тираж впервые мной увиденного сборника «Открытый текст». Он издан был со вкусом и размахом. А те, кто скидывался, – каждый получил номерной экземпляр в роскошной обложке из холстины. Мне такой достался тоже. Нет, я не расплакался при входе, удержался, я заплакал чуть попозже, уже выпив и пытаюсь что-то благодарственное несвязно лепетнуть. Я, наверно, что-нибудь высокое хотел сказать – об уникальности такого дара дружбы и о безмерной благодарности моей, но так как я к высоким изъяснениям не приспособлен, то мой чуткий организм – чтоб выручить меня – и заменил слова слезами.

И еще одна короткая история, пригодная для праведного хвастовства. Совсем недавно в Бутырской тюрьме состоялось уникальное для заведений такого рода мероприятие: выставка московских художников. Они развесили свои работы в большом зале, и экам эта выставка будет доступна. Накануне открытия художник Боря Жутовский спросил у начальника тюрьмы, может ли прийти на нее Игорь Губерман – сейчас он тут в Москве, но у него израильский паспорт. И начальник тюрьмы ему ответил незамедлительно и кратко:

– Губермана я сюда пушу по любому паспорту и на любой срок!

Хорошо, если книжки начинаются одинаково, подумал я, тогда немедля видно, что писал один и тот же автор. По глубине этой догадки легко понять, что я уже немного выпил и теперь был склонен размышлять о книге моих странствий. И в пространстве, и во времени, разумеется. Что наша жизнь, как не дорога? Да еще с заездами в различные отменные места. Ибо любая заграница интересна своими иностранцами, подумал я и записал эту удавшуюся мысль. А так как предыдущая моя книжка воспоминаний где-то в самом начале повествовала о выпивке по пути в Америку, то вот сейчас, летя в Австралию, мне стоило подробно описать одиннадцать часов тоски по сигарете. Пожалуй, ситуация сейчас была потяжелей, чем в лагере – там не хватало табака, а здесь его полно было со мной, но было негде. Попирались на глазах моих святые человеческие права, но борцов за них пока что не нашлось. Да, мы курящее меньшинство, но сексуальное такое же давным-давно уже боролось за свои права! Так почему же нам, подобно гомосекам и лесбиянкам, не выйти на улицы городов с протестом против ущемления? Жизнь в самолете обещала быть тяжелой по еще одной причине: стюардесса (из Малайзии или с Филиппин, если это не одно и то же) явно была фраппирована (если я верно понимаю это слово) моим непрерывным выпиванием, ее это чем-то задевало. Она наливала мне с потухшим взглядом и со скорбно сжатыми губами. Только я ничем не мог помочь ей, видит Бог. А то, чем я бы мог ей помочь, она отвергла бы с негодованием, ибо, по сухости фигуры судя и по общей грустности лица, была из этих (не люблю даже названия), отъявленных от собственной обездоленности. Такими пополняются международные террористические группы, подумал я. А может, так оно и есть? Я присмотрелся к ней внимательней и убедился в точности догадки. Взгляд мой оценив неверно, но правильно, она молча налила мне виски. И внезапно улыбнулась, так похорошев и помягчев, что я почувствовал себя мерзавцем и еще

острее захотел курить. А за окошком самолета протекала невообразимая красота: по ровной синеве величественно плыли белые льдины, острова, торосы, снежные холмы и просто ледяные завихрения. Красота дороже денег, подумал я, но деньги нам нужней. И вдруг мне стало ясно, что природа воздушной и водяной стихии имеет нечто общее между собой. Научность этой мысли потрясла меня. Я вообще ужасно мало, плохо и дремуче образован. Много лет я собирался как-нибудь при случае свой уровень повысить, но потом одну ужасную историю услышал и раздумал. Дальний родственник моей жены Таты, приняв пагубное решение образоваться, кинулся на старости лет читать энциклопедию. И что вы думаете? Умер на букве «В». Про это помня, я остался темен и дремуч. Поэтому и приходящие мне в голову идеи об устройстве мироздания всегда меня волнуют своей свежестью.

А так как единственное, что может сравниться по глубине и размаху с моим невежеством, – это мое доброжелательство к окружающей среде, я от нахлынувших высоких чувств чокнулся своим виски с соседом – англичанином, сосавшим из соломинки томатный сок. Он дико возбудился, полагая, что разрушено и попорано его многолетнее одиночество внутри занудной собственной натуры. И заговорил, бедняга, на присущем ему безупречном английском, не понимая, что каждым звуком своей родной речи он невосвратно разрушает нашу только что проклюнувшуюся близость, ибо языков не знал я и не знаю никаких. А если бы и знал, то хер бы стал я тратить на пустые разговоры время размышлений о родстве стихий. Тут я случайно выпил белого сухого – просто рядом наливали именно его, и мне так понравилось, что я немедленно повторил. Я выпил бы еще, но коляска уже чуть отъехала, и я решил записать часть своих мыслей.

Увидав, что я еще и пишу, англичанин просто охуел. Ни слова не произнося, он долго на меня смотрел, в душе себя коря, конечно, за нарушение пресловутой английской корректности. Он, видимо, хотел меня узнать – а вдруг я кто-то? Но, не опознав, сообразил, что и Шекспира знали в лицо немногие его современники, утешился и засопел, причмокивая.

А я уснуть не мог. По двум причинам сразу. А точнее – по трем, но надо по порядку. Я вдруг вспомнил, как летел куда-то, и под самолетом расстилались не плавные снежные и ледяные поля, а вовсе наоборот – невысказанно курчавые и завитые. Словно огромного размера белый баран проглотил наш земной шар, и только некоторых за умеренную плату выпускает полетать вокруг него. И я был очень рад, что это вспомнил, потому что твердо знал: уж если взялся я писать, то должен мыслить образами, где-то я это читал. А тут отменный образ появился сам, и я неслышно ликовал. Коляска с выпивкой еще не ехала – это и было второй причиной моей творческой бессонницы. А третья состояла в том, что впереди неподалеку распустился белый экран, и стали нам показывать кино. Я сразу же хочу предупредить, что я от этого кино так получил душой, так вырос нравственно, что не могу его не рассказать. Я звук не слышал, ибо надевать наушники бессмысленно мне было, я ведь все равно не понимаю иностранной речи, так что мной рассказанное может со сценарием совсем не совпадать. Но что из этого? Ведь если бы я понимал, тогда сюжет владел бы мной, а так – я полностью владел сюжетом и как раз поэтому возвысился душой.

Я самое начало подремал, но главное и было чуть попозже. Там отец бил сына. Или молодежавый дедушка – подростка внука. Лучше пусть будет отец. Он музыкант, и сына он учил тому же, только сын его нечаянно обидел пожилую учительницу музыки, а та еще отца его учила, и отец ударил сына по лицу. Это такой трагедией явилось для обоих, что сразу вспоминался Гоголь с его Тарасом Бульбой, потому что для еврея стукнуть внука – это тяжелей намного, нежели казаку сына застрелить. А что эти сын с отцом (дед с внуком) евреи, никакого сомнения не было, потому что оба – музыканты. И тогда отец от горя, что ударил внука, пошел переживать на какую-то очень темную улицу, где его подстерегало еще одно моральное падение в виде какой-то пожилой проститутки с некрасивым высохшим лицом и дико скрюченной невыдающейся фигурой. Только он с ней трахаться не стал, а сел на скамейку разговаривать

и закурил (вот сволочь, я не мог этого сделать!). А в это время внук одумался после таких побоев, весь душевно возродился и потрясающе сыграл на скрипке на каком-то выпускном вечере. (Возможно, это было пианино, я плохо вижу без очков, а чтобы опознать по звуку, наушники я брать не стал, я все равно язык не понимаю.) Играл он очень, очень хорошо. Как Бог играл он. Как Шопен, когда вошла Жорж Санд. И сам от собственного впечатления, когда пошел домой, то ебнулся в обморок. А на дворе дождь, и поднять его некому. Но что вы думаете? Дождь прошел, мгновенно все подсохло (даже лето, кажется, сменилось на зиму), он сам поднялся и идет (очень попрос за это время) и встречает девушку – она была уже в начале, он тогда ее обидел тоже. А она давно его простила, ей только хотелось его встретить, чтоб ему об этом рассказать. И вот они уже потрахались (а дедушки с отцом нет дома), и она уснула, а у него в голове – мелодии и разные пейзажи. И тогда бежит он в зал, где играет та старушка учительница, которой он в детстве нагрубил (за что его отец и стукнул), и он идет прямо на сцену и, вовремя угадав, переворачивает ей нотную страницу. Тут она взорлила и заиграла со страстью Рихарда Вагнера на еврейских похоронах. А в зале уже плачет его дедушка (довольно сильно постарел, так что, наверно, дедушка).

И кончилось кино. Я так душевно вырос от него, что постеснялся беспокоить стюардессу и отпил из собственной бутылки, наплевав на самолетную халяву. Но перебрал. В силу чего проснулся я уже в Бангкоке. Да, до Австралии оставалось еще столько же, и вечер, ночь и утро мне предстояло отдохнуть в Таиланде. Как я там курил тяжелые наркотики и как валялся я в массажных заведениях – притонах (где кидают прямо в ванну какую-то ароматическую травку), – я об этом умолчу, ибо приятели мне не поверят все равно, а жена поймет меня неправильно, решив, что я все это делал ради достижения блаженства, а не ради сбора информации для книги. Но спал я плохо в эту ночь, поэтому на завтра всю дорогу до Австралии (и стюардесса наливала мне от сердца) я проспал, а снились мне наркотики и ванна с травкой. Даже не припомню, кто со мной рядом сидел. По-моему, сидел кто-то, но при первой же возможности пересел. Чтоб я так жил, как я храплю, подумал я меланхолично. Я прихватил с собой в дорогу «Божественную комедию» – хотел прочесть ее еще раз (ибо ни разу не читал), но так и не раскрыл, хотя она валялась рядом. Как-то мельком глянув на нее (поскольку чуть не выплеснулось пиво), я подумал, как мельчает со временем значение и смысл однокоренных слов: Данте – Дантес – дантист, но развить эту идею не успел, везли обед. А после самолет летел довольно низко, и в просветах между облаками плыла пустыня и холмы. Я сразу догадался, что уже летим мы над Австралией. Очень хотелось послать телеграмму соболезнования вдове капитана Кука, но я в точности не помнил, где его съели, а телеграфировать откуда ни попадя мне было неудобно. Время течет, а я лечу, подумал я с законной гордостью, и мысль эту сразу записал. Из нее, конечно, следовал какой-то вывод, резюме или мораль, и знал бы я, какие именно, то тоже записал бы. Только я не знал. Поэтому я снова задремал, а перед самым Мельбурном опять везли коляску с выпивкой.

Теперь, когда понятно вам, читатель, что за книгу эту взялся не поверхностный турист, а настоящий и заядлый путешественник, могу я смело начинать свои истории о странствиях по жизни.

Часть I Житейский пунктир

Стоп-кадры

Что память наша – это дикого размера мусорная куча – знает каждый, ибо каждый что-то вспоминал или пытался вспомнить. Те психологи и психиатры, что изучают память, пишут о связи воспоминаний по смысловой ассоциации, по созвучию, подобию внешнего вида, совпадению по времени, даже в соответствии с настроением. Я когда-то читывал статьи и книги о связях и цепочках, по которым расположено бывшее наше, но, копаясь в собственной памяти, понимаю снова и снова тщетность всех попыток угадать систему этой свалки. Только знаю точно, что какие-то события и факты запечатлены там прочно и надолго. То и дело в памяти они всплывают кстати и некстати, я сейчас на чистый лист этой главы их выложу без всякого порядка, перескакивая через время и пространство, ибо время все равно одно – лично мое, текущее то вяло, то взрываясь, а пространство – слава Богу, что пришлось дожить – уже повсюдное и разное.

Все годы молодости моей – непрерывное сидение в Ленинке, я другого названия и не употреблял никогда для любимой этой библиотеки. Старожилы-завсегдатаи наверняка помнят и старую курилку – огромную комнату в подвальном этаже, где стоял неопишумемых размеров стол – за ним запросто уместилась бы небольшая международная комиссия по разоружению, а вместо пепельниц стояло три или четыре столовых металлических подноса. Стульев было несколько, но на них почти не сидели, потому что вечно шла какая-нибудь шумная дискуссия, а спорить легче стоя. Самые животрепещущие темы тут не обсуждались – времена были не те, хотя уже пахло устным вольномыслием. К тому же за столом в торце или у стенки всегда сидел дежурный стукач – они менялись, разумеется, но многих из них знали в лицо. Кстати, всегда весьма интеллигентное. Я голову даю на отсечение, что бедолаги эти все поумирали от болезней легких или сердца: смену высидеть в таком дыму было нагрузкой каторжной, да все они притом еще курили сами. Высоченный потолок от дыма не спасал. Я там толпился с упоением, завел много знакомых и общался с ними, часто забывая имя, произнесенное мне накануне или с неделю назад: калейдоскоп имен и лиц там был невообразимый. И не сиротливые телефоны-автоматы там тогда висели на стенах, как сейчас, а стояли две добротные закрытые будки. Много ли еще живых читателей, помнящих, как снесли эти будки? А я, честно сказать, и сам бы позабыл, но мне это совсем недавно напомнил старый приятель, когда мы с ним пили водку в Вашингтоне. Дело было так: внутри одной из будок появилась надпись – авторучкой, но обведенная трижды и заметная весьма: «Бей жидов, спасай Россию!» Обсудили эту надпись сдержанно, какие тут могли быть комментарии? Слегка поспорили, должна ли служба библиотеки это стирать – решили, что не обязательно. А через пару дней наша дискуссия приобрела настенный характер: появилась надпись рядом: «И жидов не перебьешь, и Россию не спасешь!» Исторический пессимизм этой второй заметки администрация явно должна была пресечь – уже хотя бы потому, что ее несомненно сделал какой-то злокозненный еврей. Тут согласились все. Администрация молчала. Третья надпись появилась очень вскоре. Начиналась она так: «Я полагаю...» Сразу же возник образ некоего чудом уцелевшего старорежимного интеллигента, который выписывал свое наболешнее мнение, поминутно поправляя или же ловя спадающие с переносицы очки. «Я полагаю, – писал он, – что бить жидов столь же нецелесообразно, как спасать Россию». Конец цитаты. Но мелочиться и закрашивать следы народного мышления администрация сочла излишним, принят был вариант радикальный: обе будочки снесли, и на

стене повисли бездушные казенные автоматы. А дискуссия, как всем известно, двадцать лет спустя выплеснулась на страницы прессы, только мнения по-прежнему те три, ничего нового общественная мысль пока не родила.

Год шестьдесят второй, ранняя осень. Дома у нас не было телефона, бегал я звонить в скверик на Ленинградском шоссе. Звонил я некоему редактору из издательства, мой голос был почтителен, хотя волнения не выдавал. Еще через минуты две являл я дивное собой, должно быть, зрелище: здоровый и по виду полностью в уме амбал подпрыгивал у телефонной будки, стоя на одной ноге попеременно и руками нечто тоже танцевальное выделывая. Только минут через двадцать я унял таким образом свое восторженное возбуждение. Это узнал я, что со мной заключен договор на крохотную (первую в жизни!) книжку (а точнее – брошюру) под волнующим и романтическим названием «Локомотивы настоящего и будущего». Тиражами в несколько сот тысяч экземпляров издавались впоследствии мои разные книжки – толстые и подлинные книжки, но такого удивительного счастья больше я уже не испытал.

А спустя три года вышла моя первая толстая книжка – о науке, очень шумно обсуждавшаяся в те годы, – о бионике. Наука эта занималась идеями, которые заимствовал человек у живой природы. И некая была там примечательность, которой тайно я гордился: книга начиналась со стиха Иосифа Бродского о сожженном некогда ученом Мигуэле Сервете. Это было первое (если не единственное) большое стихотворение его, напечатанное в империи. Он уже тогда был в ссылке, а вернувшись, получил от меня свой гонорар. И тут же вспомнился мне вечер незапамятного дня (а это – года за два до суда над ним, я в Питер приезжал в командировку), когда уже растущая повсюду слава Бродского накрыла дивный ужин восьмерым разгильдяям. Именно в таком числе пришли мы к очень известному коллекционеру, профессору Технологического (если не вру) института. Смотрели поразительную живопись (там было много Фалька, видел я его впервые), болтали все наперебой, потом хозяин попросил Иосифа почитать, тот не ломался, а меня тем временем случайно занесло на кухню, где хозяйка уже поставила чайник и насыпала на тарелочку печенье. Тут вдохновение напало на меня, и что-то я сказал проникновенное о неприкаянном большом поэте, не евшем с самого утра. Как-то получилось вставить, что и мы с ним были с самого утра все вместе, – чуть не прослезившись, хозяйка стыдливо ссыпала печенье обратно в пакет и выключила чайник. Вот те на, подумал я, увидев несомненный вред от болтовни своей, и удрученно поплелся в комнату. А минут через двадцать гостевальный стол в парадной комнате ломился от еды и выпивки!

Часа в два ночи той же тесной стайкой мы плелись по Моховой. Денег на такси не было ни у кого, и вовсе не хотелось расходиться. Возле одного дома я вспомнил, что тут живет наш общий приятель – разумеется, он давно уже спал, однако всем показалось дико остроумным постучать ему в окошко. Тем более что было оно на уровне высокого по-питерски бельэтажа, но это нас не могло остановить. Меня приподняли сначала на руках, потом я стал кому-то на плечи и кончиками пальцев дотянулся. Даже ночной стук в двери был в те годы потрясением, а тут – в высокое окно! В комнате у Алика немедленно зажегся свет, и нам было прекрасно видно его заспанное, опрокинутое от растерянности лицо. Мы прижались к стене, он нас не увидел, свет опять погас. Но мы с пьяной жестокостью решили повторить. Когда я снова постучал и уже спрыгивал, из подворотни вышел дворник. Это нас немедля отрезвило. Ночевать в милиции не улыбалось никому. И с тем же вдохновением, что вечером на кухне, я сказал ему:

– Смотри, папаша, я из командировки приехал, а у моей жены мужик какой-то. Что мне делать?

Дворник поднял голову: в светлом квадрате виден был отлично профиль Алика, что-то взволнованно обсуждавшего с невидимой нам его женой. Скорей всего, уже нас опознали, и теперь он получал выволочку, что якшается с такими забулдыгами. Дворник молча повернулся и ушел обратно в подворотню. Мы растерянно молчали, ощущая холод, стыд и трезвость. Дворник возвратился через полминуты, если не скорей. В руках у него была метла.

– На-ка, парень, – сказал он, обращаясь ко мне, – палкой постучать сподручней будет.

И ушел. Метлу прислонив к стенке аккуратно, убрели и мы. А утром все звонили, извинялись и каялись, но жена Алика еще долго никого из нас не пускала в гости.

Мне с остротой и яркостью все это вспомнилось почти сорок лет спустя, когда в Венеции стояли мы четвером (Саша Окунь, его жена Верочка и мы с Татой) на кладбищенском острове Сан-Микеле. Уже на плане для русских туристов, издавна искавших могилы Дягилева и Стравинского, чернилами был вписан Бродский, и холмик под крестом нашли мы быстро. Мы распили там бутылку, помянув его, и чуть вина плеснули на могилу.

Бродский, подобно многим, с неких лет чурался своего еврейства, никогда почти его не обсуждал, писал на христианские мотивы, и еврейство, по иронии судьбы, пришло к нему посмертно. Вся могила, включая горизонтальные плоскости креста, была уложена камушками, что приносят евреи, по давней иудейской традиции, на могилы близких. Это многочисленные израильяне российского происхождения приходили почтить его память. Положили свои камушки и мы.

Куда-то вынесло меня на перепутье, не хотел я с самого начала вспоминать ушедших, но теперь уже никак не замолчать то чувство пустоты, что появилось в день, когда нам позвонили из Москвы про Гришу Горина. За месяц до этого мы пили с ним весь вечер в Сан-Франциско: ему исполнилось шестьдесят, и он приехал эти дни побыть с отцом. Девяностолетний отец подарил ему сто долларов, чтобы он съездил поиграть в Лас-Вегас. Это был очень неслучайный подарок: старик при помощи любимого сына изживал свою несостоявшуюся страсть к игре. Ибо советский человек, всю жизнь свою он обходился эрзацами утешения глубинного азарта, он, даже в Америку уезжая с семьей дочери, тревожно спрашивал у Гриши, играют ли там в домино. Было очень весело в тот вечер – как повсюду, где за столом сидел Гриша, и жуткая растерянность, не меньшая, чем печаль, охватила меня от вести о его внезапной смерти. За те много лет, что его знал, хоть мы и виделись довольно редко и скорей случайно, я привык, что он все время существует где-то рядом, и что это на всю жизнь – не сомневался.

Наш огромный семейный клан был пожизненным должником Гриши Горина. Когда меня в семьдесят девятом посадили, то немедленно и вдруг дали разрешение на выезд семье сестры моей жены – до той поры сидели они в глухом отказе. А теперь сотрудникам всевидящего ока пришла в голову роскошная идея выяснить таким образом мои преступные связи: к моему свояку стали обращаться разные темные личности с завидным предложением разбогатеть, если он вывезет то это, то это – ассортимент был очень разнообразен. Свояк мой наотрез ото всего отказался, но разрешения на выезд все-таки не отменили. И тут я вспомнить попрошу, что в эти годы уезжавшие прощались навсегда – надежды на возможность видеться не было ни у кого. Теща моя держалась безупречно и без единого упрека или слезы – чего ей это стоило, все понимали. И возник вдруг Гриша Горин – в эти дни как раз летел он в Вену на премьеру своего спектакля. Спросил про день отъезда, посидел, рассказывая теще, как это прекрасно, что иная будет жизнь у дочери с семьей и что наверняка удастся им не только видеться, но и ездить друг к другу (беспочвенное это утешение тогда твердили многие), и убежал куда-то по делам. А в день отъезда появился в Шереметьеве: он обменял, как оказалось, свой билет, чтоб ехать вместе, подхватил один из чемоданов, и его улыбочное лицо лучше любых напрасных слов снизило трагедию проводов. А как и чем он рисковал, понятно только тем, кто жил в то замечательное время, – тем, кто еще помнит, как зависели выезды творческого человека от его идеологической безупречности.

Еще я вспомнил по естественной ассоциации безумно смешной Гришин рассказ (его устные истории воспроизвести невозможно, он был гением застольной байки), как ему однажды позвонили из сирийского посольства. Там у нас в Дамаске, почтительно сказал ему какой-то деятель культуры, состоится премьера вашей пьесы, я уполномочен пригласить вас, вы окажете нам честь.

– За чем же дело стало? – спросил Гриша. – Я готов и с удовольствием.

– Я заполняю тут на вас анкету, – пояснил невидимый собеседник, – знаю ваше имя и фамилию, а отчество, простите, не знаю.

– Очень простое отчество, – бодро ответил Гриша, – Израильевич.

С полминуты висело в трубке тяжелое молчание, после чего уныло скисший голос собеседника сказал:

– Ну, все равно приезжайте.

Но билета так и не прислал.

Гриша в те года жил на улице Горького, а в ходе хлынувшей свободы в подвале его дома учинили дискотеку, и до позднего утра весь дом дрожал от лошадиного топтания. Жильцы подали в Моссовет коллективную жалобу о своем бедствии, самой высокой и опасной для дискотеки была, естественно, подпись Григория Горина. Поэтому его как-то вечером окружили три десятка местных потаскушек, кормившихся на этой дискотеке, и выбранная ими делегатка ему ласково и вкрадчиво сказала:

– Дорогой товарищ Горин, уберите вашу подпись с заявления, и мы все тебе по разику дадим!

Но он в соблазн не впал и предпочел переехать.

Гриша спокойно, твердо и с полнейшим пониманием презирал советскую власть. Как я завидовал его такому безучастному отчуждению! И все лучшие пьесы, им написанные, – они вне времени империи и вне ее пространства. Но в общечеловеческом они и времени и пространстве, оттого и останутся как подлинная русская литература. Впрочем, я ведь не некролог пишу – ты, Гриша, в этом месте уже стал бы улыбаться, извини. Не мне тебя хвалить, тебе отменные слова при встрече скажут и Мольер, и Свифт, и Шварц.

В переживании потерь почти всегда есть нескрываемый эгоистический оттенок. Жалко, что общался много меньше, чем хотелось бы, дурак безмозглый, жалко, что ленился (а казалось, что запомнишь навсегда) записывать те разговоры и истории, от которых то щемило сердце, то трясло от смеха. Так у меня от многочасовых разговоров с Юлием Даниэлем сохранилась в памяти одна тюремная байка, которую теперь Саша Окунь рассказывает своим ученикам-художникам как притчу о влиянии на нашу душу цвета.

В одиночной камере Волоколамской тюрьмы постигла Юлия тяжелая депрессия. Уже и жить не очень-то хотелось, и казалось прошлое настолько пустяковым и бессмысленным, что просто обесценивалась жизнь, и засыпать было гораздо легче и нужней, чем просыпаться. Все эти дни курил он очень много, как-то поздно вечером он выкурил последнюю сигарету в очередной пачке, но вставать, чтоб выкинуть ее, не было сил, а бросить на пол не хотелось. Он пустую пачку поплюнул чуть-чуть и прилепил на без того шершавую, в острых комках застывшего бетона стену своей камеры. А утром разлепил глаза – скупой свет солнца через грязное окно освещал красно-оранжевый квадрат «Примы» на огромной серой стене. Это было так красиво, что внезапно радость и спокойствие омыли его душу, и ощутимо возвратились силы. «Хуй вам, суки», – сказал Юлий вслух и оживел на все оставшееся время.

Помню, что в ответ я рассказал ему свою излюбленную байку о сравнительной ценности искусства. У нас в лагере за татуировку «Сикстинская мадонна» во всю спину – от шеи до копчика – брали четыре пачки чая, а за небольшую наколку на груди «Битва Руслана с головой» – шесть. И мы еще одну татуировку обсуждали – профиль Ленина над сердцем у матерых блатных. Они ведь это делали совсем не потому, что чекисты, мол, не станут стрелять в Ленина (чекисты стреляли в затылок), – а потому, что это было знаком совершенно иного назначения. Поскольку Ленин – вождь Октябрьской революции, что по первым буквам означало – ВОР, это была семиотика профессиональной принадлежности, и кто ни попадя права не имел такое изобразить.

И хотя затеял я отнюдь не мартиролог ушедших, только самое тут место, чтобы вспомнить, как с отменно выраженным омерзением сказал как-то Зиновий Ефимович Гердт:

– Вот вы все, профессиональные поэты, полагаете, что вы влияете на жизнь, а я, от случая до случая стихи кропая, я как раз на жизнь влиял.

В своем многоэтажном, густо заселенном доме как-то вывесил Зиновий Гердт простое и прекрасное двестише:

Дорогие, осчастливьте —
перестаньте писать в лифте!

И недели две, судя по запахам, оно действительно на жизнь влияло.

Среди людей, пожизненно запавших мне в душу, помянуть хочу я человека, имени которого не стану называть, поскольку наши отношения раз и навсегда оборвались. Он позвонил мне, когда я вернулся из Сибири, но я холодно и твердо объяснил ему, что впредь общаться я намерен только с теми, кто не исчез, когда меня арестовали, и помогал моей семье хотя бы тем, что не исчез. Он пожелал мне счастья и повесил трубку. Был он математик и философ, писал отменные эссе и здорово переводил стихи с английского. А каждый новый перевод читал он мне обычно по телефону, и мистическое было что-то в этом: он всегда звонил в ту минуту, когда наша семья садилась обедать или ужинать. Это происходило у нас в разное время, но звонок звучал неукоснительно. (Об этой мистике я вспомнил много лет спустя: в нашей квартире в Иерусалиме телефон может молчать весь день – однако только до поры, когда я скрываюсь в туалете, это длится уже много лет – дай Господи, чтоб длилось дальше.) В семьдесят каком-то году он среди бела дня плакал у меня на плече от явно подлинного горя, а я не в силах был удержать смех, утешая его. Это его исключили из коммунистической партии, прознав, что втайне он католик. Но, старик, говорил я рассудительно и нетактично, разберись для себя сам – ты коммунист или католик, это невозможно совмещать, ты лучше радуйся, что всё решили без тебя. Но он меня не слышал и не понимал. Кто-то из почитаемых им ученых одновременно с успехом делал что-то в совершенно иной области, за что порою называл себя двуебом, быть таким же не без основания хотел мой тогдашний приятель, но что можно совмещать, а что – нельзя, он искренне не мог понять.

Так у меня однажды было – на моем только, естественно, уровне. В Архангельске я был в командировке от научно-популярного журнала. И пошел в зоологический музей, который оказался выходным в тот день. Однако же, почтенный представитель уважаемого органа печати, я препроводился в кабинет директорши музея – женщина приятно расцвела и вызвалась водить меня по залам самолично. Я поддерживал, как мог, высокую научную беседу о загадках мирового океана, восхищался редкостными экспонатами, все шло отлично первые полчаса. Но тут мы миновали комнату, где на столах лежали тысячи (ну, сотни) высохших морских ежей, и моя истинная мерзкая натура (хорошо хоть, что вторая, а не главная) взяла верх. Ловким движением руки я скрал ежа себе в коллекцию. Я мог бы получить его, попросив, но это я сообразил потом. Пока что этот шар с сухими острыми колючками длиной сантиметров пять лежал у меня в кармане штанов. А мы спокойно двигались по ставшим бесконечными залам музея. Что делали колючки с нежными частями моего тела, могут себе полностью представить только те, кто пережил по случаю какой-нибудь допрос в стране, где пытки не запрещены. Спасаясь от уколов этих, совершал я пируэты столь диких, что смело мог бы поступать в школу балета. Что думала директорша музея о представителе столичной прессы, я не знаю, хотя уверен, что ничего хорошего. И длилось это больше часа. Выйдя из музея, я с остервенением и счастьем выбросил ежа в помойку. И подумал, что наказан я не зря, а за простое и непозволительное человеку желание проявить одновременно обе стороны своей личности. Клянусь,

что я подумал это именно тогда, а не приплел сейчас, чтоб сделать притчу из вульгарной юной вороватости.

И вот теперь – самое время вспомнить о подлинной и многолетней раздвоенности моей жизни, когда я работал инженером и уже писал, писал, писал. И даже изредка печатался, что гнало и подхлестывало мой азарт. Работал я электриком-наладчиком в конторе с уже забывшимся названием, после нее были другие, вот и стерлось.

Одна, впрочем, очень солидная, была и раньше: ей благодаря участвовал я в историческом пуске то ли восьмого, то ли девятого турбогенератора на Сталинградской ГЭС (тогда все пуски были историческими). Помню, как часов в шесть утра меня как младшего послали звонить в Москву нашему начальнику.

– Пустили мы ее, проклятую, всю ночь возились, – доложил я гордо и взволнованно.

– А на хер ты меня будил, я еще вчера читал об этом в газетах, – ответил мне начальник.

А контора, где я много лет трудился, занималась пуском разного оборудования на заводах, и чего я там только не налаживал. Начинали мы немедленно, как монтажники заканчивали всю проводку, и вменялось нам в первейшую обязанность – за ними проверять всю правильность соединений кабелей и проводов по схеме. Это отнимало жуткое количество времени, а я уже писал рассказы, надо было что-то сочинить, чтоб экономить ценные рабочие часы. Мне в голову пришла тогда идея, мудростью которой восхитятся все, кто понимает в электрических делах. Идея в виде лозунга была, звучала как высокая инструкция: «Включать любой агрегат следует сразу, все, что соединено неверно, – выгорает!» Так мы и стали поступать. Летели предохранители, что-то отказывалось двигаться или крутиться – это было много проще изнурительной прозвонки проводов. Патента на свою идею я просить не стал, уж очень не хотелось тут же вылететь с работы.

Так самозабвенно я трудился на благо общества, пока однажды вечером не зашел ко мне приятель, где-то всю жизнь чем-то руководивший.

– Хочешь, я тебя устрою завтра же на непыльную, но разъездную работу? – спросил он.

Еще бы не хотеть, подумал я, давно пора мне повидать страну лицом к лицу. И сдержанно кивнул. Приятель написал короткую корявую записку, суть которой не была длинней ее самой – прими такого-то, не пожалеешь, я тебе завтра позвоню. На сложенной записке написал он так же лаконично – Рабиновичу. Я засмеялся, и мы сели выпивать. А что мне предстоит, я не спросил, меня тогда не в силах испугать была никакая работа, я на всех работал равно плохо и халтурно.

А на завтра эту записку медленно и вдумчиво читал ее адресат Рабинович, который как раз так и выглядел. А прочитав ее, спросил:

– Скрываетесь от алиментов?

– Нет, – удивленно ответил я.

Он мгновение подумал.

– Алкоголик? – полуутвердительно спросил он с некой грустью.

– Вовсе нет, – ответил я. И это было полной правдой в те года.

Уже раздумий не было, и Рабинович с пониманием сказал:

– Имеете судимость, жить в Москве нельзя.

– Ни разу не судили, – ответил я, провидчески добавив: – пока что.

И задал Рабинович замечательный вопрос:

– А что же вы тогда к нам поступаете?

– Поездить хочется, – сказал я честно.

– Евреи любят ездить, – согласился Рабинович.

Я молчал.

– Особенно в молодости, – настаивал Рабинович.

Мне снова было нечего возразить.

– Пишите заявление, я завизирую, идите к главному энергетiku, – сухо сказал мой будущий начальник (дивным и спокойным ко всему на свете оказался позже человеком).

Главный энергетик сидел этажом выше и понравился мне с первого взгляда, мы потом с ним очень подружились. Был он из приволжских немцев, побывал некогда в лагере, начитан был, умен и тоже горестно спокоен. С ним решил я для проверки пошутить и, сев возле стола его, сказал, как будто упреляя:

– Я не алкоголик, не скрываюсь от алиментов и ни разу не судим.

– Это говорит о вас негативно, – холодно откликнулся еще один мой будущий начальник. – Будьте добры подождать в коридоре, мне надо позвонить.

Думая растерянно и с интересом о загадочной конторе, я курил и ждал. И тут ко мне вдруг подошел средних лет и очень интеллигентного вида человек, попросил огня, прикурил, выдохнул дым и вежливо спросил, не я ли тот новый прораб, что сейчас к ним поступает на работу. Я утвердительно кивнул. И человек сказал, очень прямо глядя на меня:

– Вам будут говорить, что мы прорабов посылаем на хуй, вы не верьте, они у нас сами идут.

Он повернулся и ушел, ступая медленно и по-хозяйски. А меня позвали оформляться.

Контора эта ставила по всей империи (особенно где было крупное строительство) земснаряды – эдакие огромные баржи с насосами и глубоким хоботом, уходящим на дно водоема. Земснаряд высасывал землю, углубляя дно водоема, а пульпа – земля с водой – подавалась по трубам в другое место, где надо было сделать сушу. Такие вот могучие плоды технического разума я запускал в ход после того, как монтажники ставили на баржу все необходимое оборудование. С этой бригадой монтажников мне и предстояло ездить. Через день мы уже были все вместе в маленьком городке недалеко от Москвы, носящем почему-то гордое название – Суворов. Там в центре городка стоял даже памятник полководцу: Суворов был, как полагаются, маленького роста, очень прямой и гордый, а лицо – чистый Белинский у постели больного Гоголя. Это, по всей видимости, символизировало гуманизм российской завоевательной политики. Я поселился в маленькой гостинице, а вся бригада моих монтажников нашла какое-то общежитие. Недели две мы молча приглядывались друг к другу. Я бродил по палубе и трюмам этой баржи, наблюдая за монтажом, бегал ругаться, что запаздывает нужный кабель и необходимые приборы, быстро убедился в полной сплоченности бригады и в беспрекословном подчинении ее тому интеллигентного вида бригадиру Михалычу, что сообщил мне, что прорабов они на хуй не посылают. Я им не очень-то и нужен был, работали они сплоченно и очень грамотно – прорабом, собственно, и был у них всезнающий Михалыч, я как наладчик нужен был последние два-три дня (чем я впоследствии и пользовался без зазрения совести). Должно быть, потому и уходили от них прорабы, что бывали посылаемы при попытках вмешаться и поправить. Мне это и в голову не приходило, уже дня через три я хищно и сладострастно сообразил, что явно свободен и могу сидеть в гостинице, изводя чистую бумагу. А через две недели все стало на свои места и прояснилось полностью, включая те вопросы Рабиновича. За мной в субботу утром прибежал мальчонка-приборист (лет двадцать ему было, самый младший среди нас) и попросил прийти в общежитие – бригада просит, сказал он. И я пошел, конечно. Все они сидели в одной комнате, сгрудившись тесно вокруг стола с водкой, колбасой и солеными огурцами. Выпили они уже изрядно (часов одиннадцать утра), все сидели в майках, и такое множество татуировок украшало каждого, что даже юный пионер немедля понял бы, где провели они значительную часть своих цветущих жизней. Мне освободили табуретку, налили стакан и на ломоть хлеба положили колбасу, украсив половинкой огурца. Все было молча и торжественно, хотя по лицам собригадников бродило некое расположение – мне предстояла явная приятность. Я готовно взял стакан.

– Мы к тебе, Мироныч, присмотрелись, чуть между собой поговорили, – медленно сказал Михалыч, – все к тому идет, что ты нам подходишь.

А я был молодого гонора исполнен в те года.

– Вы мне тоже, – ответил я. Не лошадь же они себе купили.

Михалыча перебивать не следовало, я непозволительно снижал важность задуманной процедуры. Он чуть сощурился, и тут же тень пробежала по всем лицам. Но он сдержался и меня не осадил.

– Так вот я и говорю, – продолжил он так же размеренно, – что ты нам годишься, и работай на здоровье. Только у меня к тебе одна просьба: когда будешь заполнять наряды, без меня это не делай, мне видней, кто как работал в этот месяц. Сговорились?

– А я могу тебе отдать их заполнять, если бригада согласна, – ответил я покладисто, – мне это по хую, я распишусь только в конце, а все претензии ребят тогда к тебе.

– Так не пойдет, Мироныч, – снисходительно объяснил мне бригадир, – с тебя начальство глаз не спустит, когда ты деньги станешь нам выписывать, наряды на тебе, я только одним глазом должен глянуть, так посправедливей будет. Ты согласен?

– Не о чем говорить, – сказал я.

– За все хорошее, – сказал Михалыч, поднимая стакан.

Засиживаться я не стал, открытым текстом объяснив, на что я трачу время. Что я именно пишу, я не сказал, мне самому не очень ясно это было. Тем более, сказал Михалыч, и вся бригада дружно засмеялась. С тех пор свою бригаду видел я урывками, хотя являлся каждый день на час-другой, чтоб не застучало местное начальство. Что пересидели хоть по разу они все, я понял еще в ту субботу, а за что именно каждый, мне узнать не удалось, хотя свербило любопытство постоянно. Просто я однажды спросил об этом самого младшего: мол, ты за что? Он мне ответил, улыбаясь во весь рот:

– Любил, Мироныч, я по магазинам походить.

– За это разве сядят? – изумился я наивно.

– Я ходил в ночное время, – пояснил мне собеседник.

А назавтра (или в тот же день) отозвал меня Михалыч в сторону, сказал, что все меня ребята уважают, но расспрашивать, за что они сидели, среди нас не принято, Мироныч, ты ведь не по кадрам и не мент. Сговорились?

– Извини, – ответил я, – не знал и не подумал. Больше не спрошу ни у кого. Вот разве только у тебя, Михалыч, ты прости, уж очень интересно.

– А меня о чем угодно, – сказал Михалыч, – я, видишь ли, Ленина рисовал.

Уже напичканный в те годы всяким самиздатом, я воскликнул, фраер, с радостной наивностью:

– Карикатуры что ли?

Мой Михалыч с омерзением поморщился:

– Какие на хуй карикатуры? Я его на деньгах рисовал.

Из редкостной породы уголовников – он был фальшивомонетчиком, бригадир Михалыч, а отсюда, как мне кажется, проистекала и видимая интеллигентность его облика. Сидел он уже трижды, но срока были недолгие всегда.

– Хороший адвокат? – спросил его немедля я.

Он засмеялся так, что я бы мог обидеться, но любопытный фраер был во мне сильнее гонора.

– Мироныч, – объяснил мне бригадир, – адвокат хорош любой, чтоб денежки носить судье и прокурору, он затем только и нужен. Только не моего изготовления, конечно, денежки. Есть еще вопросы?

У меня их было много, но хватило такта промолчать. А Михалыч после разговора нашего терял порой свою солидность и подмигивал, меня встречая, – мне это было лестно и приятно.

Только вскоре я женился, с разъездной работой надо было заканчивать, и я ушел из дивной той конторы. Вышла, как я уже упоминал, первая толстая книжка, и мгновенно я вкусил сладость авторского чувства. Именно с женитьбой это оказалось связано, точнее – со свадьбой.

Недавно мы с женой, гостей не созывая, тихо выпили за тридцать пять лет нашего супружества де-юре, помянув тем самым день, когда ходили в загс. А та же дата нашей близости де-факто праздновалась нами на год раньше, ибо именно ее я полагаю подлинной точкой отсчета, отметку в паспорте считая пустяком и формальностью. И мне жена сказала с чисто женской мудростью, что де-факто – это мой праздник, а ее праздник – де-юре.

Так вот, за несколько дней до этого праздника я ездил в Киев, а когда в доме приятеля кончилась водка, вызвался сбежать, и в очереди этой у меня украли паспорт. Я вернулся без него, и что подумала об этом моя теща, она призналась много позже. Поменять в те годы паспорт можно было месяца за два, а в загсе нам было назначено уже через три дня, и гости позваны. Я пошел к начальнику паспортного отдела нашей районной милиции, а для начала разговора подарил ему свою книжку, где уже были написаны слова благодарности. Эффект превзошел все ожидания. Начальник лично отнес мое заявление паспортистке, клятвенно меня заверил, что через три дня утром (загс был днем) получу я новый паспорт, и спросил, не может ли он быть полезен чем-нибудь еще. Спасибо, нет, вы чистый благодетель, заверил я его, в ответ на что он доверительно спросил, не с умыслом ли я утратил паспорт, потому что в этом случае он с легкостью растянет мое дело на полгода. Нет, ответил я, и мы с ним посмеялись зрелым мужским смехом. Только принесите паспортистке коробку конфет, предупредил он меня, прощаясь, она у меня баба с норовом, а все теперь зависит от нее.

Надо ли говорить, что в этот день я с самого утра уже торчал в милиции? Паспортистка с лицом тюремной надзирательницы (через пятнадцать лет я видел много таких лиц) сказала сухо, что еще не все подписано, как должное взяла коробку конфет, спокойно вытащив ее из газеты, куда я трусливо спрятал свою мелочную взятку, но пообещала к часу дня успеть. Ну, словом, опоздал я в загс всего минут на сорок, и жена мне это помнит до сих пор. Но главное я обнаружил только в загсе: видимо, коробка показалась этой бабе несколько мала на фоне сделанного мне благодеяния, поэтому все пункты в паспорте были заполнены нормально маленькими буквами, а в графе национальности слово «еврей» – огромными и прописными. Очень я любил тот паспорт и жалею об утрате до сих пор.

А книжка эта привела меня спустя несколько лет на студию научно-популярного кино, где я кропал сценарии, и до поры все было хорошо. Но как-то главному редактору пришла идея что-нибудь приятное мне сделать и при всех: покинув кабинет, зашел он в комнату редакторов, где я толпился, и сказал:

– Какие-нибудь если есть у вас задумки, пишите мне заявку, я с вами немедленно заключаю договор на фильм.

Задумок было в изобилии, но об одной я точно знал, что не пройдет, а мой язык уже заговорил как раз о ней. Поскольку накануне я на пьянке у приятеля услышал об ученых, работающих под мавзолеем, – занимались они постоянным охлаждением и вообще сохранностью мумии Владимира Ильича. И вроде бы не столь уж были засекречены, чтобы нельзя было о них писать.

– Что ж, тема для сценария хорошая, – сказал начальник неуверенно, но трусить прямо при сотрудниках он не решился. – Узнайте только, разрешат ли съемки. И название какое-нибудь надо, чтоб достойно было темы.

С ним наедине, в служебном кабинете, из которого исходило, в сущности, все тогдашнее пропитание моей семьи, я был бы собран и воздержан на язык. Но тут сидело столько зрителей!

– Название уже готово, – доложил я преданно и бодро.

Главный редактор поощрительно вздернул брови.

– Ленин умер, но тело его живет, – сказал я. Сдавленное хрюканье за спиной одобрило мой творческий порыв. Но на дворе был год семидесятый.

– Прошу вас покинуть студию и некоторое время тут не появляться, – сказал редактор тоном ровным и не оставляющим сомнений. А когда он вышел, те же, что смеялись, принялись меня ругать за легкомыслие.

– Через месяц приходи спокойно, – утешили меня двурушники, – он тебя выгнал очень мудро, а за этот месяц выяснится, что никто не настучал.

Конечно же, язык – весьма сомнительный нам друг, но в жесте – даже самом дружелюбном – кроется опасность еще большая. Так Саша Окунь чуть не развязал однажды крупный дипломатический конфликт между Израилем и Колумбией. Его куда-то пригласили на прием, он крепко выпил и решил, что еще рюмки через две непременно схватит за попку молодую полуобнаженную красотку, сидевшую с ним почти рядом – всего через одного человека. Но когда он потянулся, чтоб исполнить замысел, то обнаружил, что немного перепил и падает, в силу чего схватил за зад соседа. Оказался тот послом Колумбии, а неухваченная красотка – послницей. Охнув, посол от ужаса обнаружил знание русского языка:

– Товарищ! – гневно сказал он.

Тут Сашка принялся сердечно извиняться, и до военного конфликта дело не дошло. Хотя и близко было к этому, как попка обаятельной послницы.

С интересом я ловлю себя на том, что как ни вертишься в подвалах памяти, а попадают истории, почти неощутимо созвучные друг другу, и психологи ничуть в своих трудах не ввали: все связано причинно-следственно, по времени или месту, по похожим состояниям души, по ключевому слову в совершенно разных эпизодах, даже иногда по запаху, естественно присутствующему какой-нибудь истории. Об этом – ниже, а сейчас – по ключевому слову.

Как однажды чудом избежал смерти художник Володя Витковский, рассказал он мне случайно в разговоре об Израиле и моей жизни здесь.

– А я вас чуть не разбомбил однажды, – повестнул он так легко, как будто речь пошла о чем-нибудь приятном и сюрпризном. – А точнее – ракетой чуть вас не накрыл. Уж я б не промахнулся, будь уверен.

Службу свою в армии советской проходил Володя на подводной лодке. Осенью семьдесят третьего подлодку эту послали в дальнее секретное плаванье, и, все проливы и контроли хитроумно миновав, она легла на дно вблизи Израиля. Где по приказу всплыть должна была и начисто ракетами покончить с раздражавшей всех страной. Забавно было мне в его рассказе (но не больше, чем забавно, как-то я уже привык), что капитан подлодки был евреем. А спустя неделю ожидания случилась неполадка с кислородом, и раздался во всех отсеках приказ немедленно задраить отверстия, через которые к ним подавался воздух. И обходиться тем, что был, пока не будет нового приказа. Вскоре они стали задыхаться. Но открыть подачу воздуха никто не смел, они были на военном положении.

– И вот уже плывет мое сознание, – жизнерадостно рассказывал Володя, – и разные видения из мирной жизни мне туманят голову. Из них последнее, как я иду по Севастополю, а впереди меня – толстущая роскошная девка. В белом таком платье – из марли оно что ли, только прозрачное совсем, и вижу я, как колыхается передо мной ее немислимая белая жопа. Я за ней не меньше трех кварталов шел, даже забыл, куда я собирался. И я, хотя уже в удушье полном, но сквозь это марево подумал: неужели больше в жизни никогда не видеть мне такую красоту? Тут я встал и думаю: да ну их на хуй, пусть в стройбат сошлют, ведь не расстрел, а жить охота. И раздраил все заслонки. И пошел – ты понимаешь – чистый свежий воздух. После выяснилось, что эти суки нас заставили закрыться на случай, если воздуха станет не хватать на всех, пока там чинят кислородную подачу.

А вскоре и домой их завернули – не хватило, видно, смелости у кремлевских миротворцев.

– Могли мы запросто и ни за что подохнуть, – говорил Володя, – если бы не жопа той красотки, дай ей Бог здоровья и что хочется.

А передо мной тем временем свое видение всплывало, и читатели второй моей книги знать не знают, что им было интересно ее читать благодаря обильным формам одной редакторши из издательства «Детская литература». Называлась эта книга «Чудеса и трагедии черного ящика» – об изучении мозга и психиатрии современной. Я писал ее с восторгом и старанием. На поле этой темы открывались мне отменные возможности сказать хотя бы походя и мельком о безумии устройства нашей жизни. После выхода книжки множество знакомых тихо и интимно спрашивали меня: а как тебе удалось сохранить вот это и вот это? Очень просто удалось. Ведь миф о советской бдительной и всепонимающей цензуре – он был чистой ложью, резали все сами авторы, а уж за ними подрезали редакторы. Внутренняя цензура была куда более зоркой и чувствительной к малейшему вольнодумию. Так вот набор моей книжки лег на стол заведующей отделом (очень, кстати, симпатичная и мудрая была старушка, но тем более насквозь она читала каждый текст) и вышел от нее с тремя сотнями отметок – галочек в местах, которые мне следовало сгладить или полностью убрать. И был я вызван в кабинет ее, чтоб это обсудить. Дискуссии мне ждать не приходилось: она просто тыкала пальцем, и я зачеркивал или предлагал смягченный вариант. Она работала в издательстве уже десятки лет, ее пугливые поправки были безошибочны и превращали мою книжку в стерильное повествование о научном прогрессе. А я писал совсем не для того. Унылое и вялое мое сопротивление творилось мной скорее из упрямства – книжка явно висела на волоске, а я был начинающий советский автор, и это было единственное издательство, которое печатало меня.

Уже сидели мы, наверно, с час, и ясно было, что она меня отпустит, только полностью дожав. Но тут впорхнула в кабинет редакторша из какого-то отдела, я ее знал. Она была настолько пышных и обильных форм, что за глаза ее давно уже все называли Дюймовочкой. О чем-то бурно заговорила она со своей начальницей, и та, кивнув мне на соседний стол, предложила сесть и подумать. В руках у меня остался карандаш, которым охладивалась книжка. Я сначала тупо уставился в набор, его листая: зловещие пометки – галочки пестрели чуть ли не на каждой странице. Что вполне было естественно, писал я книгу с удовольствием и упоением. И тут я обнаружил, что сижу я, загороженный от экзекуторши гигантской задницей сотрудницы. И тут меня постигло озарение. Перевернув карандаш, пустил я в ход резинку, что торчала на втором его конце. Нет, я стирал пометки не подряд, но с яростью и дикой быстротой. К моменту, когда зад, который заслонял мое самоуправство, заколыхался, я довольно сильно преуспел. Начальница увидела меня задумчиво сосущим карандаш, и что-то материнское было в ее первых словах:

– Надо было, Игорь, раньше думать, надо было думать, когда вы писали.

Я улыбнулся ей в ответ прельстительно и виновато. Мы закончили кромсать набор часа за два, и старушка, посмотрев с сомнением на последнюю страницу, бормотнула, что сомнительных мест было, как ей показалось ранее, гораздо больше.

– Перечитаете еще раз? – угодливо предложил я.

– Я в день читаю по три рукописи, – с омерзением ответила она. – Я отдаю это вашему редактору, с моей стороны вопросов больше нет.

Вот так и получилась книжка, за которую не стыдно и сейчас. Но обратитель прошу внимание на то, что не рассыпалась от этой книжки советская власть, не вышли на улицу трудящиеся, которым я хотел открыть глаза, и вообще никто и глазом не моргнул. А как я нервничал те два часа, следы резинки замечая на страницах, так это вовсе никому не интересно.

А сколько было их – ревнителей, блюстителей и охранителей идеологии, – представить себе можно вряд ли. Набегали они разом, ниоткуда и все вместе. У меня однажды был короткий опыт встречи с такой пожарной командой. Я писал сценарии для Останкинского телевидения, уж не помню, что это была за программа, но мою халтуру они брали. А приятель мой тогдаш-

ний, Лева Минц (он, бедолага, знал языков пять, если не больше, и кормился переводами), меня однажды попросил, чтоб я в сценарий как-нибудь по случаю вставил его имя, почему-то страсть ему хотелось свое имя услышать с экрана телевизора (или хотел порадовать старенькую маму). И я в очередном сценарии заставил одного героя говорить, что в жизни есть место удивительным людям: вот, например, живет на свете некий почти безвестный Лев Минц, который знает то ли двадцать, то ли тридцать языков, давно уже им счет он потерял, а ежели не спится – начинает их перечислять и возле третьего десятка засыпает.

А вечером за час до этой передачи позвонил мне – даже не взволнованный, а потрясенный чем-то мой редактор и велел мне срочно, на такси мотать на студию, поскольку передачу, если я не появлюсь, снимают, а такое происшествие – кошмар и неприятности сотрудникам. А почему – не объяснил, но я, конечно, кинулся, поймал такси и через полчаса уже, волнуясь очень, поднимался на этаж, где все они обитали. А с площадки лифта, в коридор войдя, увидел я такое, что не приведи Господь в те годы. Стояли прямо в коридоре, явно в ожидании меня, двенадцать, как не более, нескрываяемо взволнованных мужчин (в пиджаках и при галстуках), образуя некую дугу, где в центре высился, иного слова не найти, хоть был он ниже всех, какой-то неприметный мужичонка с ровными волосиками набок и наполеонистого вида. Все они застыли, глядя на меня и сквозь меня, а мужичонка коротко и резко спросил:

– Кто такой Минц?

Мне до него было идти еще метра четыре-пять, а при таком запасе времени уже враспloch еврея не застанешь. И когда метра полтора всего осталось, я спокойно и приветливо сказал:

– Здравствуйте. Минц – это хранитель Ватиканской библиотеки.

Всем, кто читал о коллективной психологии, известно, что в толпе всегда найдется некто, кто готов немедленно что угодно подтвердить. И тут один из окружающих сказал негромко:

– Да, да, да, припоминаю...

Тут у всех разгладились их напряженные черты, а мужичонка с меньшей резкостью, но столь же строго у меня спросил:

– А он..?

А я понятлив был, поскольку автор, и немедленно ответил:

– Он большой и давний друг Советского Союза. А недавно было интервью его по радио, он говорил о пользе взаимного влияния культур.

И мужичонка снисходительно кивнул мне, поворачивая спину, и дуга вся развернулась вслед за ним. Я, кстати, правду говорил: недавно Лева Минц о чем-то именно таком болтал по радио, туда настырно напросившись, чтобы порадовать старушку маму. А из вот этих, что толпились, – ранее не знал я ни одного, а мой редактор с ними не стоял, он был намного ниже в этой иерархии. И мы с ним крепко выпили в тот вечер. Но про Минца подлинного я ему не рассказал, это разрушило бы нашу зыбкую творческую связь.

Тут хорошо бы текст переложить веселым чем-нибудь, чтобы скорей забыть о тех испуганных блюстителях идеологии, а в случаях таких Шолом-Алейхем рекомендовал поговорить о холере в Одессе. И я с тем большим удовольствием готов последовать его совету, что холеру я в Одессе таки да застал однажды. Летом это было, год – семидесятый. Утром я приехал в Одессу, где уже с неделю меня ждала жена и маленькая дочь. День у меня дивно начинался и сулил быть подлинно одесским. Ибо везший меня таксист посадил какую-то знакомую, увялую, но дикой бодрости толстуху, и они свои удавшиеся жизни шумно обсуждали в той украинско-еврейской тональности, которую я раньше слышал только в анекдотах. По дороге я его тормознул, чтобы купить бутылку вина, женщина молча взяла ее у меня из рук, коротко глянула на этикетку и, сочно сказав – «дерьмо», продолжала дружескую беседу. Жену и дочь я отыскал на пляже, мы переговаривались, собираясь поплавать, но в это время вплотную к берегу прошел патрульный катерок, из матюгальника которого летели хриплые отрывочные слова: холера, в море лезть запрещено, соблюдайте спокойствие. В доме отдыха сказали всем очень

логично: оставайтесь, поживите, все равно мы денег за путевки не вернем. И дали всем желающим автобус до вокзала. То, что я там обнаружил, можно передать лишь средствами кино, и то необходим какой-то специальный режиссер. Немыслимой густоты толпа, залившая и зал вокзала, и перроны, не гудела, а кричала, в воздухе витала паническая, эвакуационная ярость и растерянность. Рупор объявил, что все билеты отменяются, посадка в поезда – свободная, и началось столпотворение, подобного которому я в жизни не видал и не хотел бы видеть. Потому что это сильно подорвало мою веру в человечество, а мне все же уютней жить с хотя бы остатками этой веры. Наша ситуация усугублялась еще тем, что с нами увязалась некая знакомая с такой же маленькой дочерью, что означало еще два чемодана. Тем не менее мы сели в поезд. А в купе нас оказалось двенадцать человек, но мы все сначала были умиротворенно счастливы. Тогда я, кстати, в первый раз столкнулся с азами народной психологии: у нас была какая-то прихваченная снедь, я разложил ее на чемодане и, естественно, всех пригласил к столу. Никто не отказался, всю еду умяли в три минуты. А чуть позже – каждая пара стала молча есть свое, и мы с женой лишь удивленно переглядывались. К ночи ближе на какой-то остановке мы разжились кукурузой. Спали мы с женой (точней, пытались спать) на тех антресолях, что используют под чемоданы. Когда я ровно десять лет спустя ехал по этапу в лагерь и в купе нас было двадцать два, я вспомнил, как мы некогда переживали ту тесноту, и усмехнулся от блаженства, присланного памятью. Что было душно, жарко, потно, грязно – глупо говорить. Вода в вагоне кончилась через несколько часов, и туалет легко себе представить (хотя лучше не стоит), а про запахи – писать не поднимается рука. Тем более что впереди нас ждало худшее. К концу второго дня пути вдруг слухи поползли, что нас в Москву не пустят, а поместят в карантин примерно на неделю. И некая конкретная деталь зловеще прозвучала: что вот-вот проводники запрут вагоны. И поэтому, как только мы остановились у входного семафора какого-то городка, я аккуратно выбросил в окно все чемоданы, и гуськом мы выбрались на волю через пока не запертую дверь. Потом довольно быстро и машину я нашел, водитель все никак не мог понять, зачем хочу я ехать в любой ближайший город, откуда есть поезда на Москву – они ведь были и отсюда. А чтоб они не из Одессы шли, пояснил я, и он пожал плечами, удивляясь прихотливости забалованных москвичей. Ближайший город оказался – Нежин. Ранее он был знаком мне только по названию каких-то выдающихся огурцов.

В кассовом зале было пусто и прохладно. От одного этого наши лица расплылись в немом удовольствии. Поезд на Москву ожидался часа через три, билеты обещали продавать за час до поезда, и кроме нас его никто не ожидал. Теперь поесть! За два часа мы наверстаем все, о чем мечтали двое суток.

Смутное чувство остановило мой порыв бежать и кормиться. Я бы назвал это инстинктом бывалого советского человека. Я поставил чемоданы, попросил у приветливой кассирши лист бумаги и крупно написал на нем: «Очередь за билетами на Москву». Написал наши фамилии, количество билетов и положил этот лист у окошка в кассу.

Мы ели много, жадно и вдохновенно. Только оторвавшись от второй порции котлет с картошкой, я заметил, что в ресторанном зале уже заняты все столики. И возле каждого стояли и лежали чемоданы. Я похолодел и кинулся в кассовый зал. Там густо шевелилась несметная толпа таких же сообразительных пассажиров с нашего поезда. Вспотев от ужаса, я протолкался к кассе. И обнаружил, что совершил самый разумный в жизни поступок: все послушно заносили свои фамилии в мой список. Как же я собой гордился, возвращаясь в ресторан! В тот день проводники этого поезда изрядно заработали: билетов не хватило, разумеется, но все вагонные проходы и площадки были наглухо закуплены счастливыми. А ехать оставалось нам недолго. Вечером на следующий день уже в большой компании друзей и родственников я хвастался своей находчивостью, сметкой и бывалостью. И пожилая интеллигентная женщина грустно сказала:

– Какой стыд, вы были в Нежине и не зашли в музей Гоголя!

А память перескакивает в эти же края, но к несколько иному имени и двадцать с лишним лет спустя. Уже в Израиле мы жили. Как-то я целый месяц нервничал, и тупо ныло сердце. Я волновался от неверия в евреев. Незадолго до того я получил письмо с Украины, а точнее из Полтавы, от неведомого мне тамошнего Исторического общества. Они напомнили, что недавно был я там на выступлении, показался им хорошим человеком, и поэтому я, может быть, найду какую-то возможность помочь: ужасно бедствует в Полтаве внучка (или правнучка?) и правнук (или праправнук?) Владимира Галактионовича Короленко. Господи, подумал я жалостливо – чувство это относилось ко мне, – что же я могу поделать? Однако обаяние этого светлого имени постепенно взяло верх над ленью, суетой и равнодушием. В Культурном центре советского еврейства (был такой некогда в Иерусалиме) порешили мы с приятелями учинить благотворительный концерт. Еще тогда ходили в израильянах Валентин Никулин и Михаил Козаков (оба согласились без промедления), артистов мы набрали много и большую сделали афишу. Не особенной была и цена билетов. На недоуменные вопросы («разве Короленко был евреем?») горячо напоминал я о деле Бейлиса и вообще об отношении этого человека к евреям. Слушатели согласно кивали, но билеты расходились крайне плохо. В день концерта я дошел до крайности того состояния, о котором написал в начале. Наплевать, что выручки не будет, думал я, ну не получилось, так бывает сплошь и рядом, только очень уж обидно за евреев. Потому что кто-кто, а мы должны-обязаны помнить добро, пускай и сотворенное когда-то. И было очень мерзко на душе, заранее и стыдно и обидно.

Зал был набит битком! И более того: на сцену кинули три или четыре свернутых листка, в которых были деньги: мы прошли зайцами, писали неизвестные мне люди, но хотим участвовать. В автобусе дня через два кто-то сунул одному из выступавших стоимость билета – он не смог пойти, но тоже в доле, сказал он.

А я – меня душили гордость и счастье. По-моему, они и в зал передались, таких удачных выступлений не было у меня ни до, ни после. А потом мы напились, конечно.

Выручка была обменена на доллары и послана в Полтаву. Тут забавная подробность: в благодарственном письме писала внучка Короленко, что деньги эти (очень маленькие по любым сегодняшним понятиям) довершили некую необходимую сумму, и куплен был клочок земли, на котором собрались огородничать и тем кормиться несколько семей интеллигентов местных, сбившихся в общину, чтобы выжить. Я не знаю, был ли Короленко идеологом общинного земледелия, но уверен, что, узнав об этом, усмехнулась его чистая душа.

А в это время я как раз квартиру покупал, на двадцать пять лет рассрочки здесь даются нужные для этого большие деньги, и выходит, что в итоге платишь втрое, как не впятеро, зато живешь как человек и волен как угодно забивать в стену гвозди.

Торжественный и незабвенный день приобретения квартиры в Иерусалиме (!) я закончил в больнице. Когда шел я в юридическую контору, то споткнулся так неловко, что под коленом на ноге у меня лопнула какая-то жилка. Боль была чуть меньше, когда я отставлял ногу далеко в сторону – как собака, собирающаяся пописать, но еще ногу не успевшая задрать. В таком вот виде я доковылял до конторы, где обессиленно уселся и подписывал бумаги, как вельможа (в моем представлении) – полулежа в кресле и далеко вытянув ноги. Тут и подъехала вызванная неотложка – сам я идти уже не мог. Рядом со мной, в беде клиента не бросая (хотя мы уже расплатились), неподвижно высился толстый молодой еврей – агент по продаже квартир. А так как был он в шляпе и при пейсах, говорил негромко и весомо, все происходящее обретало явную значительность. Увидев санитаров, он сказал:

– Да, нелегко достается еврею кров на Святой земле.

Я не смог засмеяться, потому что санитар уже ощупывал мне ногу. После этого достал он ножницы и ловко взрезал мне штанину. Тут агенту по недвижимости изменило хладнокровие, и он воскликнул взволнованно и страстно:

– Он режет не по шву!

Имелся в виду непоправимый вред, наносимый моим брюкам. Тут даже жена моя улыбнулась, а мудрец обиделся на наше легкомыслие и временно умолк. Поэтому и есть у него деньги, подумал я, умнея от общения с таким человеком. Он пожал мне руку, издали кивнул Тате (коснуться чужой женщины нельзя) и, проходя мимо нее, заботливо сказал:

– Проследите, чтоб его не вынесли вперед ногами.

И, римскому патрицию подобно, я был вынесен оттуда на носилках. Над лицом моим распластывалось синее израильское небо, капелька дождя упала мне на лоб, и я блаженно вспомнил окончания разных советских повестей о партизанах: «...снежинки падали на его лицо, но уже не таяли».

– Чему ты, дурак, смеешься? – спросила у меня жена. И мы поехали.

В приемном покое я пролежал часа три, ожидая своей очереди на осмотр, появился срочно вызванный женой приятель, очень хороший врач, но – хирург.

– Ты за каким хером сюда приплелся? – спросил я его грозно. – Здесь тебе работы не будет.

– Не знаю, не знаю, – ответил он, плотоядно потирая руки.

Он как-то рассказывал мне профессиональную шутку своих коллег – что, дескать, настоящая хирургия кончилась с появлением анестезии. От его прихода я почувствовал себя спокойно и уютно. Это в нас еще российское осталось: как бы мы ни жили там, но в тяжкие минуты и часы рядом возникали друзья – даже если не было в них особой необходимости. И тут меня такой взял сентимент, что я чуть не заплакал от любви ко всем, кого люблю и близко знаю. Но немедля я отвлекся, поскольку за шторами, где лежал соседний больной, непрерывно раздавались старческие хриплые вздохи и ритмично повторяющийся полустон-полувскрик: хуяво, хуяво! Что ты кричишь, думал я с раздражением, ведь и мне хуяво, только я молчу. Вернулся убежавший куда-то приятель и объяснил мне, что я стон этот неправильно понимаю, – старик себя утешал, говоря себе на иврите: «Он придет!», ибо надежда на приход Мессии, очевидно, успокаивала его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.